Андрей ДМИТРИЕВ

СТЕРХ ЗВУКОВОЙ

Нижний Новгород

2019

У кого-то – например, у тебя – суть поэтического метода сводится к сбору черники в саду камней. Садишься с кузовком у кромки, закрываешь глаза, и вот среди валунов, подчинённых начертательной геометрии, начинаешь примечать нечто едва уловимое – ассоциативное на ощупь и ассонансное на слух. Открываешь глаза – а в кузовке уже не пусто, и в воздухе – тоже не пусто, и даже на языке – то ли ягоды, то ли завязь будущих слов – их смысл ещё не навязан, поэтому понимаешь их не умом, а – возможно – осязанием или, скажем, метаболизмом. Так из – казалось бы – кромешной пустоты вырывается страждущая пустельга…

Пусто, пусто, пусто – словно партия в домино, когда постоянно выпадает пустопорожняя костяшка-дубль. Погремел-погремел, постучал по столу, прислушался к отзвуку, но это только начало. Дальше пошла интуитивная игра. Перемахнул через бруствер, почувствовал ноздрями гарь, споткнулся о жуткие груды, но успел раздосадоваться: ах, пусто-то как, как же пусты ваши боевые кличи и яростные речи. Вот и Паустовского приплёл, чтобы было хотя бы подобие просветлённой осени, сгорающей в топке неудержимого тления, но с правом на воскрешение – пусть даже в блокноте стареющего наблюдателя. Теперь пустельга появляется, вроде бы, уже не на пустом месте.

Если отпустить зрение – всё равно пластырь залепил каждый всполох живого пространства – можно постараться принять на веру движение изнутри, внутренним ухом попытаться расслышать клёкот над головой, расслышать, как расступается пустота перед взмахом высвобожденной пустельги, расслышать продиктованное, чтобы уже не сомневаться, чтобы уже не пустовать…

План полёта:

СТЕРХ ПЕРВЫЙ: КРИЧАЩИЙ –
стр.3-17

СТЕРХ ВТОРОЙ: ХЛОПАЮЩИЙ КРЫЛЬЯМИ –
стр.18-42

СТЕРХ ТРЕТИЙ: ЩЁЛКАЮЩИЙ КЛЮВОМ –
стр.43-54

СТЕРХ ЧЕТВЁРТЫЙ: КУРЛЫКАЮЩИЙ –
стр.55-73

СТЕРХ ПЯТЫЙ: ТРУБЯЩИЙ ЗАРЮ –
Стр.74-92

59 попыток стихотворений

СТЕРХ ПЕРВЫЙ: КРИЧАЩИЙ.

* * *

Единственный глаз Нельсона
и единственный глаз Кутузова –
один видит море,
а другой видит землю.
В море – белеет парус,
на земле – белеют сугробы –
благостно и безмятежно,
если б не сгустки крови –
грубые ржавые пятна
в постели умершей роженицы,
успевшей услышать крик
появившегося ребёнка…
А под окнами – пьяный отец
ещё не ведает, что овдовел,
но ему сообщили: сын…

Единственный глаз Нельсона –
слезился от едкого дыма,
от резкого встречного ветра,
но различал цвет флага
на преследуемом фрегате.
Единственный глаз Кутузова –
слезился при виде пожара
древней русской столицы,
но различал знамения
в зареве гулкого неба.

В крошево Трафальгара,
в рытвины Бородина
вернулись эти глаза –
последние из возможных
свидетелей грозного мира,
за которыми – только тьма…

Отец смотрит на сына –
взор затмевают слёзы:
единственный мой,
спасённый –
рождённый увидеть море,
рождённый увидеть землю –
настолько – насколько достанет крови…

* * *

В тысячу восемьсот
двенадцатом
воевали честно –
в красивых мундирах,
в полный рост,
встречая грудью картечь
и штыками меряя глубину
человеческой стойкости,
так, что потом
вдохновлённые львы
рык несли на ладонях
искристой бумаги
к широким столам
читательской совести…

Хрипели кони,
мешая французский
с нижегородским,
а в имениях отпевали
и хозяина,
и раба
в терпком ворохе
полыни, крапивы
и чабреца…

Инвалиды –
безумными старцами
просили копеечку
на задворках
пчелиного рая,
и выносили им
вчерашний хлеб –
горький,
но всё же подовый…

Был бы конюхом –
жил бы при тех вот – гнедых –
но коса – точит жало о камень.
Батарее Раевского – знамо – кирдык,
да не жар под чужими руками.

* * *

А мы уже не помним ничего.
А мы уже не помним. Ничего.
Вершится жизнь,
проносятся составы
под скрежет судьбоносных рычагов,
как в пьяном танце ритуальные ножи,
над тем, что скроет саван…
А нам уже не слышно ничего.
А нам уже не слышно. Ничего.
Заучены те песни
с колыбели,
и до сих пор их молоко течёт,
хоть в этой буро-белой взвеси –
полынь и сок репейный…

А нам уже не видно ничего.
А нам уже не видно. Ничего.
На огороде – пугало с лицом
стилиста, ставшего расстригой,
который впредь в семь соток вовлечён
и вывезен подальше от столицы,
где сплошь одни интриги.
А в нас уже не жжётся ничего.
А в нас уже не жжётся. Ничего.
Сырая почва
в этом месте мокром.
Пока ты в баре со своим же палачом
над шутками топорными хохочешь –
на счёт запишут новую крамолу…

А нам уже не выждать ничего.
А нам уже не выждать. Ничего.
Запнуться ноги,
потемнеют дали.
И снег наполовину с кирпичом
засыплет крошкой бренные дороги,
но как всегда для будущих проталин…

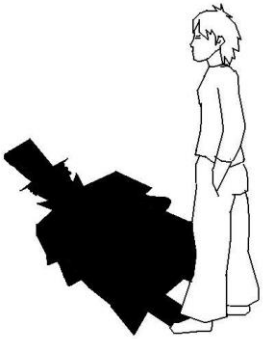
* * *

Череп полон черники,
череп полон черники.
Через чащу
чадящую,
через чертополох
чарующий,
через иван-чай
чуткий –
частили шаги
человеческие.

Череп полон черники –
прочитанной,
перечтённой…

Часа через четыре
чернеет и небо.
В часовне –
чётки и свечи,
чёткие свечи
и размытые плечи.
Чадо чешет чело,
пальцы в чернике.
Ничего,
ничего…

Череп полон черники,
череп полон черники.
Чувствуешь
чёрную мякоть,
честный растительный вкус.
За чертой оседлости
остаётся червлёное сердце –
часовой механизм любви.
Череп полон черники,
но ещё нарви…



* * *

Формат – ад,
не формат –
вечный пат.
Впереди – листопад.
Посмотришь,
как горят
листья
и рукописи,
погреешь над ними
ладони
под эхо выстрелов
убийц уток,
верных вкусу
иного дыма,
который и их догонит
однажды в течение суток…

Предначертательная
геометрия
снова склоняется
к некому кругу
или к пересечениям
в системе
координат,
где мертвенный
свет
люминесцентный
вложен в руку
как сорванный
с ветки гранат
в оранжерее
или взорванная
граната
в узкой траншее.

По бокалам разлито
не для того,
чтобы текли по усам
липкие
вина
красного или
белого голоса,
но на банкете
к ночи
уже плохо видно,
что демиурги пили,
беря с услужливого
подноса
эти
на тонких ножках
хрупкие многоточия…

* * *

В книге о китах
говорится, что в диаметре
китовая аорта
больше, чем водопроводная труба
у Лондонского моста,
и ток крови в ней –
сильнее, чем
напор воды в трубе…
А вот теперь бы тебе
риэлтора и спросить,
чем снабжают жилой массив –
водой или кровью,
и, если кровью –
всегда ли горячей,
особенно летом,
когда заплывают киты
и, вероятно, впадают в спячку…

А, кстати, ты видел ли море?
Точней, океан?
Не этот вот выход из коридора –
мраморный зал
с мокрым бетонным полом,
по которому волнами
ходит холод,
а тот – настоящий –
пучину, стихию.
Нет.
Тут даже полы – сухие
и пыльные.

В букинистическом
купи себе книгу
о тех самых китах,
что спорят с мостами и трубами
в жизнеспособности,
чтобы с грунта подняли
ну хоть какие-то лопасти…

* * *

– Моль меня ест, –
сетует кофта.
– Хоть за один присест
до насекомой икоты
с вязью не справиться ей,
всё же в шкафу истончаюсь
под гнётом её теней,
а также пыльных и чахлых
крылышек,
сложенных в кулачок
лишь
для того, чтоб учёт
перегрызенных нитей
вести,
впрочем, не как боксёр-любитель,
считающий только до десяти…

– Свекровь меня ест, –
сокрушается молодуха.
– Хоть и с ней целовали мы крест,
хоть и для обоюдного слуха
были мы именами
двух сторон одного,
казалось бы, света, что в раме
оконной горит высоко
до самого мрака,
взращенного впотьмах,
чтобы зрачок дал маху,
лишь бы был верен замах…

– Соль меня ест, –
хлюпает кровью рана.
– Это – не то, чтоб протест,
но жгучая зыбь бархана,

по которому стелет варан
свои стальные чешуйки,
и который перелетает волан
в игре, затянувшейся не на шутку
между владельцем ракетки
и хозяином корта –
как же редко
из них побеждает хоть кто-то…

– Тоска меня ест, –
вздыхает в окно попутчик.
– Скелет проплывающих мест –
лишь решётка костей скрипучих,
сквозь которую сердца стук –
только тусклая струйка гречи,
что просыпана мимо рук,
тщетно вытянутых навстречу.
Вот последнее зёрнышко упадёт,
и совсем опустеет образ,
съев меня или наоборот,
но оставив нас порознь…

* * *

Утечка мозгов.
Трубы стонут,
Капает конденсат.
Кузьмич
решил поменять
прокладки,
но забыл инструмент.
Мозги утекают –
два кубометра,
три с половиной,
четыре,
пять.
Этажом ниже –
на потолке
проступили
портреты
законодателей крыш,
живущих,
как пишет газета,
то ли в Лондоне
то ли в Париже…

Утечка мозгов
требует ключа
на тридцать два,
подставленного
ведра
и жертвенного ребра –
то есть
чего-то женственного –
идущего от бедра.
Выбросом в атмосферу
нарушен фон
и баланс.

На фермах
мычат коровы
и взамен молока
дают квас,
но ситуация-то –
нездоровая.

Держишь голову
стылыми ладонями –
чувствуешь трещину,
идущую вдоль висков.
– Я тебе сейчас скажу
вещь одну, –
бурчит медик знакомый.
– Это, должно быть,
утечка мозгов.
Впрочем,
что ты теряешь?
– Выхожу, – протестуешь,
впадая в раж.
– Остановите кому.

* * *

Словно в тёмном лесу:
ау-ау!
Это снова в аду
Орфей
ищет в самом низу
Эвридику
между тенистых фей,
но отзываются только дикие
птицы и травы.
Ау-ау!
Шуршат удавы
сквозь сухую листву,

смотрят пустые глазницы
из темноты.
Нет, это не ты.
Не ты.
Попробуй хотя бы присниться…

Ау-ау!
Только ветер,
только гул
угрюмых наследий –
от которых – не дети,
но наледи.
Ау-ау!
По воздуху гладит
пустая ладонь,
будто бы наяву
возможен огонь
не совершённых прикосновений,
будто бы – внутривенно
течёт молоко
чистого образа,
искомого голоса…

Ау-ау!
А в ответ только скрип половиц
и тяжёлых дверей.
Моргает лампочка под потолком в раю,
где уже все спаслись,
но слышат твой зов, Орфей…

* * *

Движется небо,
сгущается небо.
Вавилон Евфратович
подходит к окну –
он уже понял,
что влип в историю,
что всё скоро рухнет,
но ему нравится этот закат –
розово-красное
завершение дня
на фоне дымного горизонта.

Трубы уже прозвучали.
Теперь трубы просто чадят
над индустриальной глыбой
производственного романа,
где Иванова –
ушла к Петрову от Сидорова,
где хитроглазый инвестор –
собрал чемодан и уехал
в более сытую старость
от всех этих
гоголевских стряпчих
с лицами из бумаги…

Спальный район –
остывает,
спальный район –
засыпает,
продолжая сладостно верить,
что утро – вечера мудренее.
Лишь Вавилон Евфратович –
конструктор известной башни,
вершитель извечной гордыни,

стяжатель всеобщего языка –
чует, что уже не поймёт
ни слова в отчётах прораба,
ведь даже жена,
с которой он прожил
без малого тридцать лет,
говорит ему нынче
на незнакомом наречии,
а единственный сын –
предпочёл с ним просто молчать.

Розово-красное –
по-прежнему вдохновляет,
но это – закат,
это всегда – расплата…

СТЕРХ ВТОРОЙ: ХЛОПАЮЩИЙ КРЫЛЬЯМИ.

* * *

Марк Аврелий
въезжает в сумрачную Германию –
ветер, хвоя и холод
северных рек
Что он ищет здесь?
Вряд ли, какого-то понимания.
Его легионы
несёт на ладони Зевс –
точнее Юпитер.
Текст покидает принтер
и звучит приблизительно так:
варвар – не тот, кто древесен,
а тот, в ком оскомина беса
набита…
Юпитер ещё не сошёл
с античной орбиты,
и с атлантами пока всё хорошо…

А вот мы – бесшабашные
завсегдатаи
всяческих башен
из слоновой кости,
воздушных замков
и карточных домиков –
влипли совсем в другую историю
в сухом остатке
теории заговора
и эпохи постмодернизма,
как не увлажняли их рислингом…

Воин в звериной шкуре
за рулём рейсового автобуса

слушает новостной канал,
и пальцы, лежащие на баранке,
перебирают наколки
на крепких фалангах
при каждом упоминании
Третьего Рима.
Мы сидим у окна
и – словно Аврелий –
не видим, что там –
вдалеке – из-за дыма…

* * *

Корни деревьев
ищут золото жизни
так глубоко,
как хватает длины
в чёрном вареве
сосредоточенной почвы.
Нам не видно
этой кропотливой работы,
этого искреннего
устремления.
Мы привыкли
лишь констатировать
высоту и пышность цветения,
а что там –
за кадром грунта –
остаётся тёмным
чуланом земли,
где сложены ржавые вёдра
и шанцевый инструмент,
где, кажется, нет ничего
для эстетики
пейзажиста…

Но если же крону,
держащую в пальцах листву
простым шелестящим чудом,
достойным таки восторга,
представить на миг
продолжением корня,
гейзером внутренней силы,
вырвавшимся из недр
воплощением веры
в свет по ту сторону тьмы –
начинаешь чувствовать,
что золото жизни
всё-таки найдено
и явлено миру…

* * *

Руки, привыкшие к оригами,
из конфетного фантика,
выглядящего по-сиротски
после съеденной барбариски,
складывают самолётик –
живущий ничтожным фактом
появления маленьких крылышек
в зоне риска –
то есть в пространстве
с оттиском
полутеней,
созданных теми предметами,
что расставлены
или просто
оставлены
зрению, из-под бровей
ловящему это…

Руки, привыкшие к перелистыванию,
открывают книгу
на месте последней встречи,
находят нужную строчку,
используя указательный
палец, скользящий
от буквы к букве,
так – будто бы он и двигал
весь этот текст
с литературным азартом
к логическому финалу,
где желание знать
что там дальше
наконец-то
раскрыло интригу
и стало

скомканной в кулаке
повесткой…

Руки, привыкшие к прикосновению,
переплетаются,
преломляются
в лунном свете
и отдают тепло –
словно переводят тайнопись
на язык ощущений,
пока срок – разводящий
из зоны риска –
не запретит
с караульной вышки.
Но руки привыкшие,
руки привыкшие…

* * *

Элеонора Павловна –
бывшая балерина.
Выступала будто пава,
белой пушинкой из перины
плыла над ладонью зала,
а теперь ей восемьдесят,
жизнь – то, что докторша прописала,
смерть – та, что не спросит...

Бывшая балерина
ходит едва-едва,
словно из линий отрыва
осталась только одна –
в закатной крови горизонт.
Но когда засыпает в ветхой хрущёвке –
ничто не прервёт полёт
и восторг ребёнка розовощёкого.

Элеонора Павловна
как-то была в театре.
Никто не узнал. И правильно.
К чему все эти броские цитаты
с несуществующей уже страницы.
Постояла у гардероба –
так и не смогла решиться –
будто идя за гробом –
подать своё старое пальтецо –
будто продрогшей вдове...
В ладонях скрыла лицо
и уплыла по талой воде.

Люди пришли на балет –
отведите же их к лебединому озеру
и не включайте свет,
пока эта лёгкость не будет роздана…

* * *

У доцента Мышкина
в пробирке –
дрозофилы:
пусть не они основали Фивы,
придумали порох
и построили нефтяные вышки,
но, являясь спорами
животного мира,
эти крылатые существа
не ускользают мимо
глаза, ищущего сейчас
путём соответствий
ответ
на главный вопрос,
на который и сто,
и двести
лет
пожалуй, нам не ответить:
а мы-то кто
на этой планете?

Вот, скажем, давеча –
внук соседа –
Александра Исаевича –
пока ехали в лифте
всё допытывался,
что значит конец света,
если, сквозь листья сливы
проникший в чахлую
подножную травку
солнечный луч,
и тот неизвестно,
имеет ли зрительное начало,
скользя из-за туч…

Придя в кабинет,
взглянул на пробирку
доцент Мышкин:
у дрозофил – как всегда, обед,
поэтому с очередной попытки
не постигнешь умишком,
это конец или нет,
а, может, только начало –
с подобного пустяка.
Теория снова суха,
древо жизни лишь кроной качает
да разводит ветвями,
и так вот пока
веками…

* * *

Подобрали во дворе ворона
с перебитым крылом,
спасли от голодных весенних кошек.
Отнесли домой,
отогрели, выходили,
дали имя Матфей.
Через несколько дней
птица окрепла,
вернула перу
тугой смоляной отблеск,
стала ходить туда-сюда,
внимательно прислушиваясь
к нашей речи,
словно к сказанному свыше
по пернатому разумению…

Мы знали, что вороны –
подобно попугаям –

способны воспроизводить
человеческий язык,
но не ожидали
в реале
так скоро
и так естественно
выученного слова «честно».
Членораздельно
повторял Матфей:
«Честно-честно,
честно-честно»…
Вероятно, часто
данное слово
звучало в доме
последние несколько дней.

Через неделю
вполне осознанно
птица спросила:
«Есть ли у неба край?».
Мы застыли
в недоумении,
не зная, что и ответить…
Ближе к осени,
когда двинули холода,
Матфей предложил
улетать на юг,
несмотря на две пары
беспомощных рук,
поставив нас на крыло.

Честно-честно,
честно-честно…

* * *

Быть при дворе династии Цин
ценителем поэзии и медицины –
может быть, честь, только ветер восточный –
как кочет –
встрепенулся на линии горизонта,
а вот подуть – не нашёл резона.
И осталась лишь пыльная плоскость
данности псевдомосковской,
в которой по гравию ходит нога,
взывая к крепости каблука,
если уж не коньяка…

Раскуроченный воздух
вдыхать до осеннего свиста
в бронхах и промокшие волосы
считать – покуда не высохли –
прибрежной травой,
в которую ткнулся нос лодки,
переплывшей уже не впервой
древнюю реку. Юноша светлоокий
отчалил, причалил же зрелый воин,
проигравший войну
и оставшийся спелой раной,
где по красному дну
собирает на жемчуг раковина…

Сколько же не читай трактатов –
лицо всё равно из стекла и бетона,
за его окнами – сонная катаракта,
в которой плывут сгустки боли,
ворохи облетевших дней,
комья растраченной почвы,
клочья волчьей овчины и – уже в темноте –
струпья неразличимого почерка…

Но всё же – отринув сумбур –
видишь контур фарфоровой вазы,
не помещённой ни в Лувр,
ни в Эрмитаж, а сразу –
как прочили пьяные мудрецы –
отданной под вино.
Не бойся, яд был подсыпан ещё при Цин,
и, значит, в крови давно…

* * *

И на берегу Ориноко
так же, небось, одиноко –
особенно, если ты – камень,
тлеющий здесь веками.
Да и к чему так далёко…
Срезал себе веточку,
приклеил листочки,
подул розовощёко –

вот и полдень в июле,
и, вроде, ещё
не точка,
пока ещё – гули-гули…

Комплексы, закавыки,
шаткая неустроенность,
депрессивные домыслы –
это уже не смоют
ни Ориноко,
ни Ока,
которая под мостом
живёт серебристым соболем,
хватая опавшие облака…

Гуттаперчевым чаем
спеленаешь своё сознание
и продолжишь пролистывать память,
с чаем крепчая,
опираясь на локоть –
будто бы камень
у берега Ориноко,
будто бы тающий окрик,
не ощутивший даже отскока…

* * *

Ксюше ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Сидели на кухне – ели-пили,
поднимали столбики пыли
над красной Москвой –
выше секвой,
выше Эйфелевой
и Останкинской,
выше памятника рабочему и крестьянке –
за столом главное не осанка,
а развенчивание блефа.

Мимо ходили козы,
ламы, буйволы,
индюки, и пелось
на всю широту пасторали,
втиснутой в столичную уйму
вещей, где королём
предначертано было шуту
в диапазоне руки
приглаживать шум
и раскатистый гул
в конце строки…
.
Золотистая кожа
арапа нашего – спадала
в прихожей,
и за язык уже было не страшно,
сходящий к нам с пьедестала…

* * *

Мария Филипповна –
готовит компот из яблок.
Семён Эдуардович –
вешает книжную полку.
Ирина Геннадьевна –
моет полы в прихожей.
Роман Алексеевич –
меняет лампочку в коридоре.

И вроде бы
все при деле:
на противне
плюшки в соку и в теле,
закручены туго
гайки,
разучены фуги
и даже хайку,
посчитаны
окна напротив,
и, щи сварив,
доморощенный Буонарроти
дышит теплом уюта
на кафель-керамик,
в котором кому-то
мерещатся росписи храмов…

Да, все при деле.
У Веры Петровны – тефтели,
у Семёна Эдуардовича –
роман Милорада Павича
о двух концах
и двух началах,
где нужно с жилкой купца

выбирать, что и чего кончает.
Вечер. Июнь. Выходные.
Луна – желтее, чем дыня.
И где-то в сгустившейся вышине –
ангел летит извне.

Мария Филипповна –
угощает компотом внука.
Тому – шесть лет,
а ум уже – как микроскоп Левенгука
и телескоп Галилея –
всюду ищет ответ,
зрения не жалея,
но не на всякое «почему?»
всякий ответит ему.
Даже Семён Эдуардович,
прочитавший тысячи книг
и по пальцу ударивший молотком, с азартом
вешая полку для пары сотен из них…

Однако же,
все при деле,
и все пределы
очерчены стрелкой часов,
и все приделы
встроены в общий контекст,
хотя бы пока
муж Веры Петровны
тефтели ест,
и пока Ирина Геннадьевна,
выжимая тряпку,
не скажет Роману Алексеевичу,
что лампочка в коридоре
теперь светит ярко…

* * *

Чёрное море,
перчёное Чёрное море –
длиною в полжизни мечта,
отвлечённая
сказка
в границе прибоя…
Помнишь, на берегу
сидели –
дышали йодом,
смотрели в оба,
как проклёвывается
первенцем
осипшая птица –
свобода,
хоть перебора со специями
не избежать и с опытом…

Друг работал на базе,
на продуктовой базе –
тюки, упаковки, пачки,
мучнистые фразы,
повисшие в воздухе,
жвачные
теоремы,
вопросы
логистики,
решаемые за смену…
А тоже не удержался –
взял расчёт
и уткнулся в окно плацкарты,
за которым солнце печёт
и пальчиком детского счастья
играет своё пиццикато.

Всем бы нам ворковать кораблями
на мокром карнизе пирса,
ожидая простора
и перебирая губами
имена кипарисов
тихо в кильватере
непринуждённого разговора,
да вот консьержка
за дверью грёз глуховата…

* * *

По движению рук
узнаёшь музыканта на отдыхе.
Чемодан открывает –
будто футляр виолы.
Читает задумчиво книгу –
словно новую партитуру
перед большим концертом,
в антрактах которого
будет буфет с бутербродами
и дорогим коньяком,
будут споры об ипотеке,
неодолимые
даже безбытным Бетховеном,
будут эффектные платья
и телефонная стрекотня,
а потом – вновь симфония
при приглушённом
искусственном свете…

Ну, конечно же, музыкант:
выходит на берег –
будто на авансцену,
но не ради оваций,

хотя слышится плеск
волн искристых,
а ради того,
что сокрыто
за линией горизонта.
Погружается в воду –
словно прислушивается к себе,
в котором вот-вот
зазвучит
ослабленная струна…

А высоко – самолёт,
в его клюве – билет обратно.
В зале аэропорта,
у стойки для регистрации
встретишь опять музыканта,
смотрящего на табло –
словно на памятник Баху,
отодвигающий даты
на мемориальной доске,
но обещающий
время и место
возвращения к зябким скрипкам…

* * *

Развязывается шнурок
на правом ботинке,
почему-то на правом.
Всю дорогу.
Чтобы это значило?
Вроде затягиваешь туго
узел, сформированный
правильным бантиком,
а он всё равно
то и дело –

концы по сторонам,
как усы сома,
скачущего по земле
к берегу
то ли глубокой реки,
то ли просто приличной лужи.

Нагибаешься,
собираешь пальцами петли,
чтобы восьмёркой –
знаком, стало быть, бесконечности –
скрепить вновь
распавшийся перекрёсток,
рассчитывая
не на ту самую бесконечность –
бесконечность не знает шнурков,
а всего лишь
на минимальную крепость
столь ненадёжных уз.

Мимолётом успеваешь
зафиксировать место,
обойдя глазами
очередной, непримечательный
с виду фрагмент
городской типовой застройки.
Такой вот короткий безвкусный
зрительный пикник
на пыльной обочине.

Встаёшь, идёшь дальше,
проходишь ещё квартал
и вдруг ощущаешь,
что снова ослабло
и опять на правом
злосчастном ботинке.

Нагибаешься,
нервно сплетаешь концы,
поняв, наконец,
что банальный сюжет
так и будет спешить с развязкой…

* * *

Из матрёшки – матрёшка,
из этой матрёшки – другая,
из той – следующая.
Занятная штука –
аттракцион перерождений,
роды вещи,
заключённой в себе.
Складывается
материнский капитал
из кубышки в кубышку,
и отцу – потеха,
игра в напёрстки
с собственным ожиданием,
а в итоге – маленькая,
неделимая
деревянная куколка –
на вес горстки
грядущей золы…

Скомороший
перестук-перезвон,
из матрёшки –
матрёшка вон.
Этот принцип
так близок нам,
выросшим на сказках
о кощеевой смерти,

которая – как известно – в игле,
а игла – в яйце,
яйцо – в утке,
утка – в зайце,
заяц – в большом сундуке,
что под дубом зарыт
на далёком-далёком острове.
Игла та – по-прежнему острая.

Сидит старичок возле вокзала –
разложил на газетке
поделки-безделушки –
ложки-поварёшки,
игрушки-матрёшки,
а никто не берёт,
приговаривая: бог спасёт.
Вот последняя куколка народится –
и принесут дары…

* * *

Авиамоделизм.
Клеишь с придыханием –
деталька к детальке,
кропотливо,
тютелька в тютельку,
чтобы ничего не упустить,
следуя
достоверности.
Как по кальке.
Эх, стабилизатор
опять отвалился,
нервов уже
не хватает,
доделаю завтра.

Незаконченный
истребитель
второй мировой
похож на недописанный
текст –
вроде уже есть
крылья,
но ещё не скомандовать
маленькому
абстрактному лётчику:
на взлёт!
Да, и в целом
вся эскадрилья
пока кажется что-то не очень…

Ваши пальцы
пахнут клеем,
как не написала
Цветаева,
но веру хранит
чертёж.
Терпение,
только терпение –
это самое
главное,
особенно после,
когда так неистово
ревность рычит:
не трожь.

* * *

Пусто.
Пусто.
Пусто.
Пустельга –
перелетела бруствер,
как те, кого изрубили в капусту,
и теперь они – сгустки
остывшего воздуха
за нашей спиной.
От возгласов –
пусто, но мир иной –
не телеэфир.
Пустельга –
просвиру
не выпускает
из острых когтей.

Пусто.
Пусто.
Пусто.
А хотел
чего-то вроде искусства…

Опустевшие улицы –
ноябрьский опус.
Замедление пульса,
хоть сердце – корпит над прописями –
будто школьник,
и чернила его – красны.
Воют умалишённые
с осени до весны
в одиночных палатах.
Пусто.
Пусто.
Пусто.
Локоть – залатан,
и в плечах стал узок
пиджак Дон Кихота.
Лети-лети, пустельга,
завершая сезон охоты –
тень по жухлой траве пускай.

Пусто.
Пусто.
Пусто.
Паустовский.
Природа – по-русски.
Пасмурно.
Вот это и постигай.
В голове – всё заклеено пластырем,
над головой – пустельга…

СТЕРХ ТРЕТИЙ: ЩЁЛКАЮЩИЙ КЛЮВОМ.

* * *

Выросла из такого сора,
из такого дешёвого сыра,
из такого сырого сюра…
Вышла из такого сорта,
из такой сыворотки,
из такого сюртука,
из такой шинели…
Право, как только посмела.
Выплыла из такого омута,
из такой мути,
из такого мазута…
Вылеплена из такого хлеба,
вынесена из такого хлева,
а всё, ишь ты, подавай неба.

Выжата из такой полыни,
растущей возле таких пыльных
заборов,
вырезана из такой бумаги,
из таких бланков,
из такой банальной
главы,
что спорна
сама возможность игры.

Выткана такой нитью,
такими литерами,
на рукавах с такими вытертыми
локтями…
Вскормлена такой баландой,
такой сушёной лавандой,
такой бравадой,

такой рубленой балалайкой,
как не загнулось дитя-то.

Когда б вы знали.
Ах, когда б вы знали.
Хотя к чему детали.
Таинственная плесень – на стене.
Немея от стыда, не…

* * *

«Миру – мир», –
мурлычет кошка
у подъезда,
из которого можно
выйти в тираж,
в люди:
в греки – естественно
из варяг,
в космос открытый,
а войти в раж,
в реку –
как минимум
раза два,
в историю, где убитые
сраму не имут,
если сперва
не были в списках
должников Дома быта
или – хуже того –
чрезвычайной комиссии.

«Миру – мир», –
мурлычет кошка.
Со скамьи
встаёт осторожно,

опираясь на палочку,
старичок-звездочёт,
не лёгший ещё костьми
по причине большой удачи,
хоть кости уж наперечёт.
Бросил кошке
сосиску
из гастронома –
будто дань
голодному прошлому,
что всегда
возле дома
выкармливает котят –
пусть они
и из рук сегодняшних поедят.

Вошёл в подъезд –
будто в вагон,
идущий в один конец,
а кошка с котятами ест
и вдогон
снова мурлычет:
«Миру – мир,
миру – мир».
Жаль, не каждый жилец
этих тесных квартир
переводит с кошачьего нынче…

* * *

Уходит человеческое,
уходит пчеловодческое,
уходит почерковедческое,
уходит свечное-вечное…
Фабулы, только фабулы,
только фартуки
на полузакрытой фабрике,
только тщедушные факты –
фанты, фактики-фантики,
только фартовые
фофаны – в фаворе
у штампованного фарфора
с изображением фараона,
только фраеры –
расфуфыренные
фокусники
с руками у феи
под кофточкой…

Кирпично-кровавое,
курчаво-кичливое,
крикливо-кипячёное –
копоть на стенах прачечной,
где не учи перчёного,
за парчу порядочно
переплачивая.

Постепенно – под скрип
половиц, под спирт
за башнями скирд,
под брань, забывшую стыд,
под смог и смрад
города, что как миокард,

как надорванный эмигрант
в построенных им же кварталах –
уходит детальное,
уходит древовидное,
уходит детородное…

«Взяли мою копеечку;
обижают Николку!», –
всё причитает юродивый,
радевший за человеческое,
и что, казалось бы, толку –
всё, ведь, куда-то уходит
сколько ни капай на ранку йода,
сколько ни перебирай в комоде
вещи – уже не по моде,
сколько верлибром
не переписывай оду
и наоборот –
мертвецам в угоду…

* * *

«Иду на грозу», –
шепчет громоотвод
на крыше. Внизу –
разбежался народ
по тёмным подъездам,
по тесным квартирам,
по сухим углам. Интересно,
в последний день мира
так же двор опустеет
при зове трубы,
надеясь за стенами
избежать судьбы
человечества?

Глядя вниз из окна,
думаешь, что конечно –
ведь, участь вне стен страшна…

Гремит, трясёт,
сверкает в прорехах
свинцовых высот.
Не до смеха,
не до выкидывания
коленца,
не до проблемы выбора
зла, разумеется,
меньшего.
Впрочем, зло – есть зло.
Молния – будто трещина
пересекла стекло.

«Иду на грозу», –
бормочет громоотвод.
От сумм
слагаемых – итог
прежний –
разряд.
Промокшие беженцы –
бегут наугад
под первый попавшийся
козырёк подъезда.
В ливень повсюду наши
крыши, что так естественно…

«Иду на грозу», –
лепечет громоотвод.
Всепроникающий звук
бетонной плитой упадёт,
и запахнет озоном.

Словно пальцы в мыльные космы,
молния пустит электролизованные
ветви в скученный воздух…

* * *

Здравствуй, Нобель,
я – Врубель.
Демон – в жаркой утробе
раздувающий угли –
сел на корточки рядом –
смотрит в самую душу.
Он – желает награду:
номинируйте, ну же.
Холст – как старая карта
рудников потаённых –
обрекает на кару,
что пророчат знамёна
и железные крылья.
Нобель, Нобель,
я – Врубель, быль – я.
В окнах – пустыня Гоби.
Премию тратит пространство
на широту и выси.
Демон – на фоне красном
лик свой из пепла выстлал.

Здравствуй, Врубель,
я – Нобель,
динамитом загублен
тоннель, впрочем, мы оба –
знаем, что выход – внутри.
Номинации – тщетны,
но демон твой – посмотри –
к нам заходит с планшета
по вай-фаю и пишет комменты,

мол, засилье плохих репродукций,
и дорогие билеты
на выставку – даже самую куцую.
Врубель, Врубель,
я – Нобель,
мне валюта – не рубль,
но в застиранной робе
кочегар с парохода на Волге
бросил в топку и свой уголёк,
чтобы путь этот долгий –
был широк…

Демон смотрит с холста –
он и Нобель, и Врубель,
он – рубильник, врубающий страх
перед миром, сколоченным грубо
на задворках вселенной,
он – кабель, он – кобальт,
он – набат над долиной оседлой,
где собаку с ножа мясом кормят.
Запекаются краски,
выпекаются деньги,
а на фоне – по-прежнему красном –
смотрит в душу к нам демон.

* * *

При Иване Грозном
я был молекулой,
при Петре Первом –
химическим элементом,
при Сталине –
отцовскими генами,
а сейчас я, похоже –
вишнёвая косточка
в саду у Раневской –
в проданной чёрной земле,
или, того хуже –
битая ссылка
на несуществующую страницу
в локальной сети…

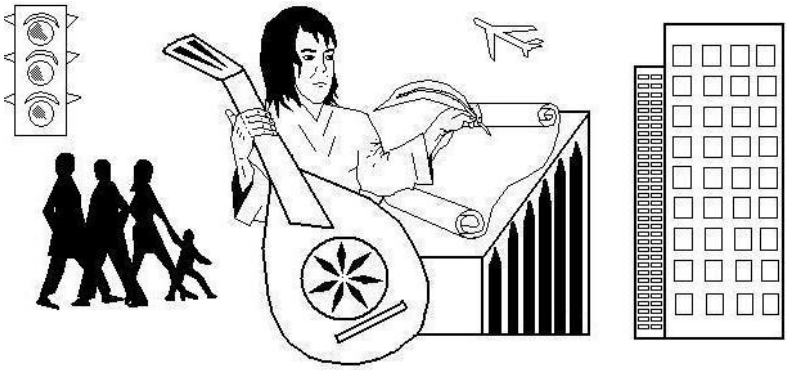
Хвост виляет собакой,
рыба гниёт с головы,
да и всей птичке пропасть,
раз коготок увяз,
но мы продолжаем петь –
будто всё, что случилось –
это лишь пара
сломанных стульев
и прожжённая скатерть.

Знакомый из МЧС
рассказал, как на прошлом дежурстве
получили они сообщение
о пропавшей слепой лошади,
которую хуторяне
искали три дня
в лесу, примыкающем к полю,
но следы от копыт
обрывались в густой землянике…

– Это ж про всех про нас, –
сказала взволнованно ты.
– Но вы всё равно ищите,
ищите…

Гуляли по старому городу,
а говорили о новизне.
Впрочем, в том не было противоречий.
«Мы были, как вы,
и вы будете, как мы», –
так пишут в афонской традиции
под сводами костниц
с безымянными черепами.

Стану молекулой,
стану химическим элементом,
стану чьими-то генами,
стану вишнёвой косточкой,
даже ссылкой сомнительной стану,
по которой в два клика
до правды не доберёшься –
лишь бы продолжился след
в безнадёжно густой землянике…



* * *

Зовите Брейгеля скорей
на этот скромный лист альбомный,
который прост, как воробей,
но обескрылен нелюбовью.
Пусть все уродцы и сычи
из позднего средневековья
находят тысячи причин
гадать насколько лист огромен,
пока вольна рука творца
в своих приёмах и задумках,
хотя вселенская тоска
искусство превращает в муку…

И тут стоит вспомнить картину
«Фламандские пословицы»
или «Мир вверх тормашками»,
написанную в 1559 году,
где нашли умозрительное отображение
такие нидерландские присказки-поговорки,
как «Нести огонь в одной руке,
а воду в другой», «Кто-то стрижёт овец,
а кто-то – свиней», «Жарить
целую сельдь ради икринки»,
«Сидеть в пепле между табуретами»,
«Выстрелить из арбалета второй раз,
чтобы поймать первую стрелу»
и многие другие...
Однако, из-за плохого голландского,
экскурсовод вновь переходит на русский.

Зовите Брейгеля скорей,
чтобы раскрасить лепрозорий
и в нём танцующих зверей,
что нас в кругу заменят скоро –

львов огнегривых и волов,
исполненных очей и сини,
а также золотых орлов,
чей взор такой невыносимый.
Пусть будет вещим тамбурин
и избавительною лютня,
пока чума, сняв карантин,
в нас не достигла абсолюта…

* * *

Много букв
для бук,
много бамбука,
а не булок
с балыком,
много бурканья
в трубу
телефона
в такую пургу,
эй, форвард –
много пуха
и перьев
в твоём углу,
эй, Вертер –
ты же, вроде, написан,
а по-прежнему –
много бу-бу –
игр со смыслом
сквозь брежневское
мычание,
раскатил губу –
нас будто
не замечаешь.

Мало тополя
на Плющихе, воплей
типа «опля»,
мало копий
и стрел, копий
баек про опыт
пить растворимый кофе
из колбы,
распечатанных оптом
и в розницу,
всем скопом.
Мало сломанных переносиц
и на подносе
рюмок.
Не поняли юмора.
Мало в урне
докуренных
персонажей,
хоть у курильщика кашель…

А всё частишь
и частишь.
Ишь,
не нравится
постный шиш.
Каракатицей
чернил напускал
у берега из песка.
Шалишь!
Думаешь, мы без лыж
в этом лесу, где мышь
не выскочит из пассатижей?
Да погоди же…

СТЕРХ ЧЕТВЁРТЫЙ: КУРЛЫКАЮЩИЙ.

* * *

Куда-нибудь да уедем.
Да-да.
Куда-нибудь соберёмся.
Непременно, да.
Будет рычать-стучать,
греметь-свистеть,
поддакивать-подталкивать.
Неба – через край,
земли – по облако.
Глянь на карту:
изысканные жирафы – на юге,
китовый ус – вьётся с севера,
шелкопряды – порхают на востоке,
готические костёлы – дремлют на западе…
Чай вдогонку.
Посидим на дорожку
и дверь за собой запрём.

Куда-нибудь да отправимся.
По кругу, по прямой
или в обратную сторону.
Будут крыло-колесо,
песня-присказка
«долго ли, коротко ли»,
проводник-провидец,
перекати-поле,
ковёр-самолёт,
вокзал-пристань…
Предъявим билет –
и привет.

Всё движется.
И мы не стоим на месте.
Ничто не стоит на месте.
Всё куда-нибудь да приедет.
Приедет куда-нибудь.
Куда-нибудь.
Куда-то.
Всё…

* * *

Единственная информация, известная мне
о Серпухове, –
Это то, что в нём есть
Серпуховский
Лифтовый завод.
Об этом я прочитала на железной
табличке,
Висящей в лифте дома,
В котором живу.

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

Где-то живёт человек
с незатейливым именем
с синей наколкой на левом плече
или на правом – и, может, даже не с синей,
а, скажем, с чёрной –
белый такой медведь,
грубо очерчен, но чётко.
Мог бы быть не медведь, но ведь –
во всей этой тёртой эстетике
топорщится шерсть и скалятся зубы.
У того человека – соседи
вечерами стучат по трубам,

когда он включает на полную громкость
виниловый диск,
которых давно уж не крутят, и из колонки
хрипит подзабытый артист.
Человек в ответ им
делает музыку громче,
и кричит соседям,
что за день устал рабочий
и должен немного расслабиться.
А белый медведь всё скалится, скалится…

С утра – на завод.
В здешнем маленьком городке,
не достигшем больших высот
в экономике на витке
извечного кризиса –
ценен стабильный оклад,
хоть по меркам реалий капризных
он несколько маловат.
Человек крутит гайки,
шлифует стальной брусок
и воздух, пропитанный гарью,
выдыхает на щётку усов
из ноздрей – тех, что вытер чумазым пальцем.
А белый медведь всё скалится, скалится…

С остановки пешком.
А куда и зачем?
Натянув на голову капюшон,
идёт в темноте человек
до какого-то дома,
к какой-то двери,
но по-прежнему в коме
пространство внутри.
И от этого тихого ужаса
холодно на душе.

Макароны с сосиской к ужину
и сто грамм – это уже клише
для историй про жизнь до беспамятства,
где белый медведь всё скалится, скалится.

Где-то –
да бог весть где –
по неброским приметам
зима в городской черте,
в которую с неба снег хлопьями валится,
но белый медведь уж с этим-то точно справится…

* * *

Пела-пела Серафима –
добела-добела
по серому, сирому –
пускала перепела
на волю,
но на воле –
дали хватили лиха:
звонница вновь без колокола,
в саду облепиха
без листьев и ягод –
всё больше шума-гама
на месте пустом,
всё больше яда,
а, ведь, просили-то соль…

Пела-пела Серафима –
вылепляла
из мякиша себе сына,
а хлеб – изначально
чёрный,
прогорклый –

груб помол,
черства
корка,
но нечего больше на стол.

Песню
пестовала,
а после
выплеснула –
эх, кабы в пляс,
ан нет, не в пляс –
мелосы
стали вереском
за перелеском –
там, где Макар не пас
и гусей –
к ночи заросли всё густей…

* * *

В сюртуке Чехова
до Ялты – рукой подать,
а там – кровь
на носовом платке
станет последним
выдохом.
Чайка, бывшая человеком,
перелетает ров,
на дне которого
трубы, словно ноги раздетой
богини смерти,
поражены гангреной,
но за рёвом мотора
экскаватора
не слышно,
как дух, покидающий
теплосети,
поминает огонь –
в ином свете – геенну…

В парке деревья
старые –
скрипят о своём,
о былом,
в их дуплах
всё глуше
сердце-сова,
и только
дятел в висках.
Ходишь по тропам,
себя ощущая
пустым и глупым,
что повторяют слова,
которым тебя искать

уже не хватает
отчаяния.

Хлопаем дверью
своего исхоженного
подъезда –
создаём
как бы шум жизни,
чтобы в нём утопить истерику
кровельного железа
по поводу
прав на дом
дождей,
начавшихся сызнова…

* * *

Зачем иметь
дом с бассейном
во дворе,
если всё это
находится
под Арзамасом,
где уже в сентябре
впору пополнить
свой гардероб
тёплым пуховиком,
если ныряя в воду,
погружённого
тела масса
выталкивает
объём
скорейшего холода…

Впрочем, берестяная
мельница
намелет
столько
древесной муки,
что на растопку сердца
хватит
до следующего
ледникового,
ведь, устав
от талдычащей
уставной азбуки,
в этом толкателе
крови в оба конца,
до сих пор
тебе мнится
нечто толковое.

Сорока над перелеском
с переходом
на следующую строку
после нажатия
клавиши «enter».
Был бы дом
с бассейном
на заднем дворе –
можно
и под Арзамасом –
нырнул бы одетым,
начитавшись Есенина,
но всё утекло
мимо кассы
сквозь дырку
в гремучем ведре…

* * *

С чемоданами,
полными
марлевых пиджаков
и ватных штанов
спрыгнул с поезда –
трава по пояс –
и куда глаза
гля-а-дят
с бесприютной
тоской –
то есть за
насыпь
в сторону
посёлка
лесорубов,
где доской
наискось
заколочен
проём в полнеба
гармонистской рукой
завклубом…

Вон из зоны
комфорта,
минуя Лефортово –
словно поцелуй
на морозе.
То, что красное
размазано по щекам –
это не кровь,
а земляника.
Все объяснения – после,
все бланки – по почте.
В крапивном некрополе –

мумия отставного
кузнечика,
вот ей-то
нынче и почести.

Но куда глядели
глаза –
там – за
шиворотом
лишь ельник
расцарапал хвоей
лопатки
беспробудного сторожа
в затёртой рубашке,
и тот, как глухой
Бетховен
прислонился
виском
к смятому пианино,
набитому пухом,
чтобы почувствовать
поступь клавиш,
молоточками
бьющих
по струнам-жилам.
Вот тебе, бабушка,
и пирожки с внуком…

* * *

В мягком ворохе –
нити и лоскуточки,
ворсинки, комочки,
катышки, пёрышки,
а подушечки пальцев
всё равно
помнят лишь колкое,
так коварно-укромно
скрывшее жало
в податливой мякоти.
Это как обращение
к прошлому,
это как бы
прощённая шалость
на уроках физики
и математики,
проводимых роботом…

Дактилоскопия
не выдаст,
сентябрь не съест.
Учит видеть на ощупь
куриная слепота.
Пальцы затем и выросли,
чтоб руке было проще
высказаться о том,
что воздух
не взял её вес,
и крылом обернуться –
увы, не судьба,
хотя, может,
однажды, потом…

В мягком ворохе –
скоро будут и листья,
а позже – пушистый снег.
Сдуют-выдуют –
развеется облаком.
Шарик ручки
закатит чернила вспять,
и в почерковедческом сне
станет больше
ещё одним
блеклым всполохом…

* * *

– Трофим, в кармане твоём
на дне град Китеж, а, Трофим? –
спрашивает Зоя –
девица двадцати двух лет.
– Или всё тот же
ворох трухи,
кучка сора
подслеповатая?
Ты ж говорил, что торопишь на свет
чистую правду,
землю
обетованную,
недостающую карту…

Молчит Трофим,
лишь изредка
из кармана пальто
бросает пригоршни
подгорелых семечек голубям,
и тем всё равно,
что это, возможно,

совсем не Китеж,
не горсти его,
а, если и он –
то изрядно выжженный –
они просто клюют,
пытаясь себя
хоть как-то
насытить досыта.

– Зоя, а, Зоя,
и, правда, труха, –
вдруг молвит Трофим,
раскрывая ладонь,
в которой
пыль
подзолистая,
рассыпавшийся огонь.
Пустой карман,
пустая рука,
и только – голуби
высоко-высоко.

На краю города –
будто бы на краю обрыва –
стоят Трофим и Зоя –
герои художественной фотографии,
висящей на закрытой выставке,
что из-за тесноты
казалась стилизованной
под карман,
наполненный дымом
сизым,
табачным
и семечками
уже подгоревшей публики –
вперемежку:

русские, тюрки, финно-
угры и иже
с ними.
Закравшийся
за подкладку Китеж.
Любовь и голуби.
Зоя целует
растерянного Трофима…

* * *

Астролябия –
едва ль
дальновидней
Алябьева.
Ночь тиха,
холод точит иглу
на лунном камне.
В сфере чайника
происходят
простые открытия,
насколько хватает
чашки.
За золото –
то есть молчание –
минуты сбыли
и эту тайну…

Звери не пересчитаны –
сбой счёта,
да и что может дать
калькулятор,
когда тёмный лес
больше уже не ковчег,
а траво-
и плотоядное

игрище форм
жизни той,
что включается
в чек
за разбитый
фамильный фарфор…

Девушка,
сидящая на подоконнике
по эту сторону быта,
сложила лодочкой
худенькие ладошки –
изображает,
будто кормит овсом
хромую на переднюю ногу
кобылу,
а та – дотянуться хочет
домысленными губами,
но пока держит привязь –
скупая и строгая –
робкий ещё полусон…

* * *

А мы останемся,
как давняя земля,
что ждёт очередной весны,
очередного лета
моментом воскрешения
и обновления цветов,
звенящих трав,
ростков иного смысла
и формы…
Там – на глубине –
готовы вновь
предчувствие и чуткость –

ментальный чернозём,
предельный перегной,
чистосердечный гумус…
И семя падает,
и семени есть место.

В размокших рытвинах,
в проталинах сырых –
уже искрят контакты оголённых
тончайших проводов.
Да будет ток,
да будет свет,
да будет жизнь.

Мы – давняя земля –
по сути вдоха,
нам корневая музыка важна,
как сила для насущного прорыва
в иные сферы
новых стеблей, ведь
без точки роста
нет и направлений,
есть только векторы
беспочвенных гипотез
происхождения самих себя.

Да будет рост,
да будет сила,
да будет высота,
и мы останемся,
как давняя земля,
что на витке своих перерождений…

* * *

Развивая Драгомощенко и Целана,
можно долго снимать эту цедру
с новогоднего апельсина,
оставаясь как бы уместным
на празднике современности…
Мы вышли в стылый подъезд,
где ничего, кроме обшарпанных стен,
обсыпавшейся штукатурки
с письменами былых племён,
где гул батарей и труб
перекрывается разве что лифтом,
курсирующим по вертикали –
между небом и землёй,
ограниченными чердаком и подвалом.

Здесь нет запаха апельсина
и порезанных в плошки салатов –
слишком много дверей,
за которыми тоже есть жизнь,
а, может быть, смерть –
со своей аурой быта,
слишком много пыльных пространств,
где бывать и швабре-то недосуг.
Здесь бездомная кошка
трётся боками о ноги,
и, видимо, тусклая лампочка
получает вот так электричество…

Здесь можно поговорить,
не стараясь перекричать
и не прося сделать музыку тише.
Считая ступеньки
на лестничной клетке,
не думай о критериях шага –

просто ступай вверх или вниз.
Не надейся, что нас позовут
обратно в квартиру –
там свои разговоры,
там ждут каких-то гостей
спешащих из аэропорта.

Лучше давай
вспомним нашу любимую песню,
ведь, целую вечность уже
не пели в подъездах,
а потом украдкой
начнём целоваться,
как хмельные подростки…

* * *

А книжка-то,
а книжка-то – истощалась,
тлела-таяла
на руках-реках
мостом подвесным,
по которому
раньше ходили
с пищалью,
позже – с розой
белой,
потом – с бубном,
с бутылью,
с холщовой сумой,
но с умным
видом,
а теперь вот –
иной с правой ноги,
другой – с левой:
какой-никакой выбор.

Мелькала кириллица
прореженным
перелеском.
Хвойный колокол
переходил
на безлиственный тон,
когда догулявшийся август
чах стихающим
всплеском,
так и не взяв нас
в толк
при обоюдной
астме.

Таяла-тлела книжка –
чужим голосом,
нашедшим себе причину,
и что-то осыпалось,
как перезревшие яблоки
на вязкую землю,
ставшую вдруг с овчинку –
то есть сызнова
готовой под единственный стебель.

СТЕРХ ПЯТЫЙ: ТРУБЯЩИЙ ЗАРЮ.

* * *

Высока звезда,
да низка трава –
мимо поезда –
зелёные рукава,
мимо – всполохи гроз –
будто треснул фарфор,
выпав из рук – но стряслось,
так стряслось – пустой разговор,
осколки – в урну,
урну – за дверь,
в дверь постучится утром
другой одомашненный зверь –
с бубенцом в розовом ухе,
с гроздьями на рогах,
у весны-повитухи
плакал и он на руках…

Шумные города
изгоняли досужих птиц,
что липли на провода,
по которым струился визг,
заставляющий лампы кричать,
а динамики выть,
что – будто рецепт врача –
исчеркали лапками быт,
хотя латынь умерла.
Летят теперь в захолустье,
где кочует и впредь Тамерлан –
он-то, мол, этого не попустит.

Ехали: справа лес,
слева поле,
ждали простых чудес
без алкоголя –
и вот разверзлась земля,
вышли кудрявые дети –
в тёплых ладошках зола –
слепая пригоршня смерти –
превращалась в алмазную пыль,
в цветочные семена.
Видимо, это был
опыт вещего сна…

Приехали на вокзал:
не птицы снуют, а люди,
горит высоко не звезда,
а свечка в торте на блюде.
Вышли в рычащий дол,
перепутав «зелёный» и «красный»:
здравствуй, дом, милый дом,
здравствуй…

* * *

Нарисовать лошадь –
склеить чёрточки
в чистый образ,
изобразить гриву
волнообразным
движением кисти руки,
вдохнуть жизнь,
еле дыша на бумагу
в момент, когда
появились глаза
и пучок травы

в непременно тёплых губах –
теперь уже точно тёплых…

Плохо пишущей ручкой.
Лучше бы карандашом,
но куда-то запропастился.
Жаль времени, чтобы искать –
пусть дымка бледных чернил
воскрешает мёртвое дерево,
из которого – эта страница
в толстой тетради.

Бумага – белая.
Не то, чтоб зима вокруг –
просто всё остальное – лишнее,
здесь, пожалуй, уместна
сейчас только лошадь,
вот такая – немножко нескладная –
впрочем, как и всё,
что исповедует достоверность
не в фотографическом смысле,
а по сути тончайших связей…

Нарисовать лошадь –
вместо, скажем, автомобиля.
Мальчики любят машинки –
те, что катают по полу или странице –
даже, когда им за сорок –
смотрят со стороны
на этот стремительный век,
пытаясь определить
себя в рычащем железе.

Нарисовать лошадь –
к примеру, вместо солдатика –
в каске и с автоматом –

некое альтер-эго,
лишённое страха смерти
и наделённое силой.

Чёрточка – к чёрточке.
Видимо, хочется вызвать
нечто поистине чуткое
при взгляде в толщу волокон –
хотя бы белой бумаги –
считая, что всё остальное –
в данный момент было бы лишним
или – как минимум – второстепенным…

* * *

Выговориться.
Выговори «выговориться» –
съешь эту луковицу,
запей сукровицей,
в которой барахталась белорыбица.
Воздух – пенится.
Облака перистые –
будто пар изо рта
в холоде января…
Выговориться.
Скажи «А»,
скажи «Б»,
расскажи, как мечтательный рыцарь
с бумажным голубем на гербе
пропал на святой земле,
в которой – гадать теперь на зерне
или по скользкой змее,
что в земле той – будто в золе
угасший огонь,
гадать о том, сколько кругом
будет ещё врагов,

крепостей,
черепов и костей…

Выговориться –
выписаться из больницы,
створки раскрыть устрицей –
нате, мол, жемчуг, спесивцы –
долго же он крутится
на языке,
выискать в рюкзаке
спички и соль,
распахнуть антресоль –
достать тёплый плед,
что ответ
на сто бед,
когда приглушённый свет,
а за окном – тихий снег…

Выговориться –
выспаться или влюбиться,
к тебе подойти на выстрел,
выдюжить, выстоять
в веренице
виселиц,
возродиться
в каждом отпущенном слове,
в травах – пыльных и сорных –
найти ж таки связку ключей,
на детском мяче
поселить детские сны
и пустить по орбите весны.

Выговориться.
Выполнить волю отца,
духа и сына,
хотя бы в масштабах маленьких символов

веры во что-то тонкое,
пусть и теперь – лишь вокруг да около,
но всё-таки – слышен колокол,
кажется, слышен колокол…

* * *

Маленький человечек
кричит: надышаться нечем.
Этим вот есть, а мне чем?
Воздух – протух, хоть подсвечен,
выкраден, только конечен.
Блекнет на пальце колечко
маленького человечка –
то ли так тускл вечер,
то ли у восковой речи
кончились свечи…

Маленький человечек –
даром, что гуттаперчев –
весь поломался, став никудышной вещью.
Чем это лечат?

Поле засеют картечью,
кровью полив, а не кетчупом.
К мясу добавят гречу.
Сядут перекалеченные,
в пластырях из аптечки
и съедят этот мир за встречу…

Маленький человечек
в чём-то вязком по плечи
детские слёзы и девичьи
по поводу грубой сечи
воспринимает, как средство от нечисти,
правда, извечно

не хватает в составе какой-нибудь мелочи –
впрочем, так всегда с человечеством.

Трамвая бубенчик.
Город вскрыт, рассекречен.
Чёт или нечет?
Разницы нет, ибо певчий
закончил. Ночь – будто кречет
с тёмным крылом, но не нервничай,
маленький человечек.
Сделай глубокий вдох – станет легче.
Как это нечем?
Воздух, как прометеева печень,
отрастает, лишь выклюют. Так, ведь, кречет?

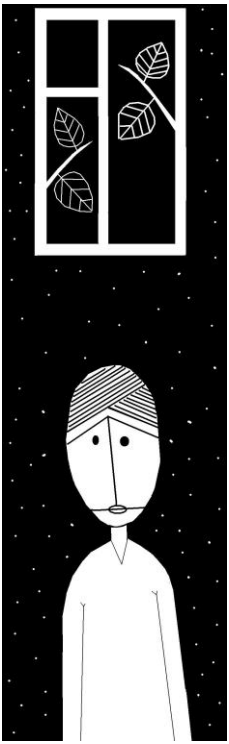
* * *

Из метро – в метро.
Пучок разноцветных линий
на карте метрополитена –
будто каракули творческого ребёнка,
которому подарили фломастеры.
Никто ничего не понял.
Рисунок повешен на стену
просто из умиления,
однако в час пик
всё ж таки видят в нём
концепцию некого мира,
где главное – поиски вариантов,
как выйти наружу,
дело только за выбором...

Спускаясь по эскалатору,
чувствуешь всю глубину
детского замысла –
назад в материнское лоно,

к пересечению всех пуповин,
к эпицентру вечных пульсаций –
трогательный рефлекс
бесхитростной самозащиты.

А позже, вернувшись на свет,
ощущаешь папины руки,
он исполнен счастьем отцовства.
Хочется закричать,
но крик твой был бы уже не первым,
поэтому просто улыбаешься солнцу
и продолжаешь пешком
очередное рожденье...



Из цикла «БЛОКНОТ-КИПРИОТ»

I

У святой Соломонии
в местных катокомбах
семеро детей,
семеро сыновей,
и сама она проростает из недр
древним фисташковым деревом –
тянет ветвистые руки
к жаркому небу,
на котором проступают
подземные фрески,
если смотреть в него
не как в окошко отеля
с видом на нечто бирюзовое,
а как во вместилище смысла,
лишённое рукотворного свода.

И нет здесь никакого
приторного пафоса,
хоть и город –
тот, что вокруг –
называется Пафос,
а есть благоверная тайна,
не боящаяся темноты
самых узких тоннелей,
есть целебный источник,
питающий старые корни
фисташкового ствола,
твёрдо знающего,
куда и зачем тянуться...

Семеро сыновей
говорят средь ветвей

на греческом и арамейском
про то, как в месиве
растерзанной плоти
при терпеливой работе
вызревают стойкие семена,
их окровавленные имена –
спускаются эхом в подвалы,
где укромным овалом
закругляется божий свет,
и его плодотворнее нет.

У святой Соломонии
дети – выстраданное счастье,
которым уже не грех поделиться...

II

На античных изображениях
эллины бьются нагими –
в чём мать родила –
только шлем,
большой щит
и копьё...
Как говорится,
ничего лишнего.
Или всё-таки личного?
Керамика помнит
и нам сообщит:
пришли голыми –
голыми и уйдём,
узнав каково,
но запекаясь в глину
слишком уж быстро,
чтобы успеть поделиться...

Хореография смерти,
её строгая нагота,
её сдержанный эротизм
стали подлунным мотивом
классического искусства,
начавшегося тогда,
когда из доступных призм
всех внятней
казалась изящная амфора
для вина,
допив которую
кто-то однажды осмыслил,
что значит пусто...

Древний художник
закончил линию тела
павшего воина
на хрупком сосуде,
вышедшем
из гончарного круга.
Эта последняя судорога
длится веками,
пока мы рассуждаем
о достоверности
и актуальности
изображённой муки...

III

Продавец фруктов
баховской фугой
звучит сквозь медленный
и ленивый воздух
жаркого дня
в радиусе прилавка

на каменной набережной,
где в музыкальном смысле
молодой саксофонист
однако,
всё-таки содержательнее,
и за кулисами
тёплое море
об этом даже не спорит...

Рыбные ресторанчики,
яхты и катера,
шустрые зазывалы
и праздные туристы –
густыми мазками
сливаются в абстрактных овалах
и полусферах, хотя
русская осень была бы податливей
жанру импрессионизма...

Остатки турецкой крепости
османской пятой
теперь попирает
разве что контур
эллинского прибоя.
Птица застыла как бы на месте
высоко в небе –
безмятежно парит,
и мы с тобою,
распустившись
на одной ветке вербы
ещё по весне,
держим пари,
что сейчас эта птаха
в чьём-то красивом сне...

IV

Кипрский мальчик
с лицом Диониса
свесил загорелые
ноги с пирса
и ловит клочья волны,
ударяющей в берег.
Зодиак предлагает
знаки Рыб,
Водолея и Рака,
пока искренне верят,
что они укажут
путь на Итаку
те, кто потерян...

Айвазовский,
эх, Айвазовский –
сейчас бы мольберт,
кисти и краски.
Что может
эта как бы японская
фотокамера
передать
прямиком из сказки
морской
в виде аванса?
Только анфас
на паспорт.

Скоро вернёмся
в остывшее,
промокшее
августовское бессилие
среднерусской природы –

вытряхнем себя из чемоданов
и снова увидим мальчика,
набранного курсивом
на странице стишка,
изначально
казавшегося удачным...

V

Стрекоза, упавшая в бассейн,
знала радость полёта.
И где теперь эта радость?
В бронзовом отблеске
надвижимого тела
на зыбкой поверхности.
Но зритель анатомического театра
видит только контуры,
обведённые мелом
холодного разума,
и лишь иногда – как сейчас –
соизмеряет их
с драматизмом момента –
тогда-то и хочется глазу
взять приметы
собственного бессмертия
хотя бы в аренду...

Мёртвое насекомое
дрейфует к правому борту,
где в шезлонгах
пьют соки
млеющие иностранцы –
вроде нас.
Ветер колышет штору
в окне соседнего номера,

будто мысль о высоком
недавнем полёте
бывшей уже стрекозы,
но в лапы которой,
как оказалось,
легко и теперь попасться...

– Миша, может, пойдём к морю? –
неожиданно по-русски
спросила женщина мужа.
(А мы-то думали: англичане –
уж больно надменны).
– Пока ещё рано, самое пекло,
к тому же –
хочется пообедать, –
ответил ей тот,
шумно сходя в бассейн,
как со стапелей сухогруз -
так, что вокруг него
завихрилась прозрачность вод,
увлекая на дно стрекозу...

VI

Последние ворохи,
последние вздохи и ахи.
Молотый амфибрахий
заварен в какой-то
достаточно произвольной турке.
На соседнем балконе
метнули окурок
вниз упавшей звездой,
но желания не загадать.

Через несколько
линий прибой
по прежнему хлещет за
шиворот побережью
и музыкальным плеском
на фоне улиц приморских
брезжит.

Цикады стрекочут,
гомон людей не тише.
Дуновения ветра –
как омовение небом
тела, что будет всклокочено
в давке аэропорта
уже завтра.
Но это лишнее.
Ещё ловишь ответы,
ещё ожидаешь невидаль,
не делая это
видом спорта...

Византийская церковь
окунёт негромкий
свой колокол
в пену предчувствий –
срезонирует
что-то тонкое,
станет цепким
и долгим –
таким, что уже не отпустит,
пока искру не вызовут
новые токи...

* * *

Играет зурна.
Зубр из зерна
выклёвывается косматый.
Звени, кочевая струна,
расщепляй свой атом,
цитируй звук
космоса.
Пальцы рук
перебирают ветер –
кочующий воздух,
и с этим –
возникают фантомы
грядущего:
свинцовые тучи
над заброшенным домом,
созревшие груши
на надломленной ветке,
лёд трескучий
на тихой реке,
в позапрошлом веке
изменившей русло
так, что теперь вдалеке
от прежних тенденций искусства…

Но играет зурна –
зоркое зарево,
зуммер…
Появляются травы,
рыбы с радужными глазами,
шелестящая сумма
пряных листьев
ближайшей дубравы…
Полынная мистика,

кочевья мысли,
мелосы, мелосы,
сфинксы…

* * *

Будет дождь,
будет снег,
будет дождь,
будет снег.
Будет рожь,
будет серп.
Буйный вождь
будет сед.
Буря – нож,
буря – след.
Будь же, свет,
будь же свеж,
будь же сплошь…

Будни – ложь,
будни – смех,
будни – ложь,
будни – смех.
Брейгель – дождь,
Бунин – снег.
Баржи – тож
на косе.
Бурый – всхож,
серый –
слеп…

Будто дождь,
будто снег,
будто врёшь,

что, как все.
Будто ждёшь,
что гусей
было всё ж
ровно семь.

Будет дождь,
будет снег,
будет дрожь,
будет нерв…

* * *

Когда земля была хлебом, а небеса – маслом, на чай собирались люди и ангелы, звери и птицы – садились за большим круглым столом, и всем хватало места. Теперь, когда хлеб – это только всему голова, а маслом не испортишь только кашу, за простым чаем сидит одинокий старик, но до сих пор не находит себе места, потому что опустевший стол – кажется лишь замкнутым кругом.

Литературно-художественное издание

Андрей Дмитриев
«СТЕРХ ЗВУКОВОЙ»

Автор рисунков Андрей Дмитриев

Тираж: неограниченный

г. Нижний Новгород

2019

Андрей ДМИТРИЕВ

«СТЕРХ ЗВУКОВОЙ»